

НИКОЛАЙ ГАРИН-
МИХАЙЛОВСКИЙ

ИСПОВЕДЬ ОТЦА

Николай Георгиевич Гарин- Михайловский Исповедь отца

Аннотация

«Я, слава богу, в своей практике никогда не прибегал к розге. Но, признаюсь, став отцом довольно-таки капризного своего первого сына, Коки, я пришел в тупик, что мне предпринять с ним...»

Николай Гарин- Михайловский Исповедь отца

Посвящается О. А. Боратынской

Я, слава богу, в своей практике никогда не прибегал к розге. Но, признаюсь, став отцом довольно-таки капризного своего первого сына, Коки, я пришел в тупик, что мне предпринять с ним.

Представьте себе сперва грудного, затем двух- и трехлетнего тяжелого мальчика с большой головой, брюнета, с черными глазками, которыми он в упор исподлбья внимательно смотрит на вас. Это напряженный, раздраженный, даже может быть, злой или упрямо-капризный взгляд. Это вызов, взгляд, как бы говорящий: «А вот ничего же ты со мной не поделаешь!»

И действительно, поделаться с ребенком ничего нельзя было: если он начинал капризничать, то вы могли терпеть, могли раздражаться, упрекать няньку, свою жену за то, что они распустили ребенка так, что хоть беги из дому; могли действительно убегать и, проносясь мимо окон детской, уже с улицы видеть все тот же упрямый, но с каким-то напряженным интересом провожающий вас взгляд, — лицо все с тем же открытым ртом, из которого в это мгновение несется все

тот же надрывающий душу вой. И хотя вы теперь его, этого воя, уже не слышите, но вся фигура ребенка говорит об этом всем вашим издерганным нервам.

Конечно, прогулка вас успокоит. К вам подведут вашего утихшего наконец сына с тем, чтобы вы оказали ему какую-нибудь ласку. И, глядя – может быть, сперва и насилуя себя – его по головке, вы думаете, смотря в это желто-зеленое напряженное лицо и черные глаза: «Может быть, и действительно нервы».

А если мальчик в духе, и глаза его искрятся тихо, удовлетворенно, и если тогда он вдруг подойдет к вам и, доверчиво приложив головку к вашему рукаву, спросит, довольный и ласковый: «А так можешь?» – и покажет вам какой-нибудь несложный жест своей маленькой ручкой, – вам и со всем жаль его станет, и вы почувствуете, что и он вас и вы его очень и очень любите.

Но опять и опять эти вопли!.. Все та же однообразная, бесконечная нота!..

– Милый Кока, скажи, у тебя болит что-нибудь?

– Ты чего-нибудь хочешь?

– Вот ты плачешь, а папе жалко тебя, и так жалко, что папа заболит, умрет, если ты не перестанешь...

– Ты, значит, совсем не любишь папу?

Вой сразу поднимается на несколько нот выше.

– Ну, так перестань...

В ответ успокоенная прежняя ровная нота.

Няня держит ребенка, растерянно гладит складки его рубашки, смотрит вниз; жена сама не своя зайдет то с одной стороны, то с другой.

– Дайте мне ребенка!

– Да, барин...

– Глупая женщина! Я отец этого ребенка, люблю его больше, чем вы, и знаю, что делаю.

Слова эти для жены. И, раз так поставлен вопрос, речь уже не о капризе Коки, а кабинетный, своего рода вопрос о доверии.

Я с ребенком один в столовой. Весь ее, жены, протест в том, что она не идет за мной: как бы слагает ответственность на одного меня. О, я не боюсь ответственности!

– Перестань!

Мой голос спокойный, ласковый даже, но решительный. Я не унижусь, конечно, до нескольких энергичных шлепков: я только прижал к груди малютку, может быть, немного сильнее обыкновенного и быстро, очень быстро, и очень решительно шагаю с ним по комнате. О, радость: средство действует! Ребенок ошеломлен и стихает. Я, конечно, настороже и голосом спокойным, как будто все так и должно быть, говорю:

– Хочешь, я дам тебе эту куклу?

И я передаю ему с этажерки фарфоровую игрушку. Он берет игрушку и спрашивает как ни в чем не бывало:

– А зачем она не идет?

Я таким же тоном отвечаю:

– Потому, что она глупенькая.

Наш разговор продолжается, и я продолжаю его и тогда, когда входят повеселевшие смущенные воспитательницы. Мой авторитет установлен настолько, что раз проходя, я слышу нянин голос:

– А я папу позову!

– Няня, я вовсе не желаю быть пугалом своих детей: я запрещаю вам страшать ребенка моим именем...

Но раз стал на почву авторитета...

Я уже бегал с сыном по комнате и прижимал изо всех сил его; но это больше, увы, не помогало: он еще громче кричал.

Однажды, потеряв терпение, я вдруг внес его в переднюю, поставил там на ноги и, сказав «кричи», быстро запер за собой дверь, оставив его одного.

Опять победа, – он боялся одиночества.

Затем и это средство перестало действовать. Следующее средство был угол.

Идя дальше и дальше по пути отцовского авторитета, однажды... ну, одним словом, я дал волю рукам... дал ему несколько шлепков.

И он опять покорился сразу, вдруг, но уже не разговаривал со мной, а, озабоченный, торопился уйти от меня. Я слышал, как он, войдя в детскую, сказал возбужденно, почти весело няне:

– Няня, пойдем...

– Куда, милый?

– Уйдем и возьмем братика.

У нас только что родился тогда второй сын Гаря.

– Куда?

– Я возьму братика, и мы уйдем от папы.

Он говорил возбужденно, с удовольствием, по своему обыкновению смакуя, точно в это время рот его набит был чем-то сладким и вкусным.

Я никогда не забуду этой подслушанной сцены. Этот порыв уйти от меня, этот бессильный протест малютки, сознание в нем неравенства борьбы со мной, великаном... Мне стало совестно, жаль его первой надорванной веры в свои силы. Мне захотелось вдруг быть не отцом его, а другом, который мог бы только любить, не неся ответственности за его воспитание. Но эта ответственность...

Дальнейшим, впрочем, моим воспитательным опытам положила конец сама судьба.

Приехал к нам сверстник Коки, мой племянник, Володя, и заболел корью.

Заболеванию было легкое, и доктор посоветовал ввиду неизбежности для всякого такой болезни, как корь, заразить и сына.

В одно веселое утро, когда мальчик сидел в столовой на полу, мы с женой пришли, чтобы вести его в комнату больного.

– Кокочка, хочешь видеть Володю?

Володя лежал теперь в противоположной стороне дома, один в большой комнате.

Кока полюбил своего худенького вертлявого двоюродного брата Володю и с его приездом переменялся до неузнаваемости: почти перестал капризничать, смотрел влюбленными глазами на Володю и даже рычал от удовольствия.

Нелюдимка, угрюмый, он теперь по целым часам говорил что-то Володе, тяжело ворочая языком, смотря на Володю своими сверкающими радостью глазками.

А когда капризы его все-таки настигали, Володя трогательно-нежно ухаживал за ним и все стоял около него, терпеливый, с болью и лаской смотрел ему в глазки. И Кока смотрел на него пылливо, любяще, продолжая выть и выть, и все растирал слезы, мешавшие ему смотреть на своего Володю.

И вдруг этот Володя заболел. Кока только и спрашивал о Володе.

Когда жена спросила его, хочет ли он идти к Володе, лицо его расцвело, – он что-то держал в руках и бросил, легко встал и сразу протянул обе ручки мне и жене.

Мы так и повели его, и, боже мой, какое бесконечное счастье было на его лице! И все трое мы шли такие веселые, счастливые, и если бы нам сказали тогда, что мы ведем этого малютку с большим любящим сердцем на смерть.

Это было так. У Володи корь прошла легко, а у Коки осложнилась, – развилась бугорчатка легких, бугорчатка перешла на желудок, на мозг, и в три месяца наш Кока сгорел.

За несколько минут до смерти он пожелал, чтобы его поднесли к окну.

Мы жили тогда для него на даче, у моря. Тихий, спокойный догорал день, золотилось море. Последний ветерок едва шевелил деревья, и они, словно вздыхая от избытка счастья, еще сильнее подчеркивали красоту земли и моря. Над окном пела какая-то птичка, точно прощаясь, выкрикивая нежно-нежно какую-то чудную ласку.

Коке было почти три года, но он так вырос за время болезни, точно ему было вдвое. Он так сознательно, так грустно смотрел своими черными глазками, положив головку на мое плечо. Он тихо, как птичка, если можно это назвать пением, запел:

Папа хороший,
Мама хорошая,
Я хороший
И птичка хо...

Он не кончил своей песенки: он так и уснул у меня на плече своим вечным сном, тихий, задумчивый, среди огней догорающего дня, вспыхнувшего моря, аромата вечернего сада... Птичка смолкла и, вспорхнув, утонула в небе...

Мы стояли неподвижные, осиротелые, я с дорогой ношей на плечах, с ужасным сознанием непоправимости.

Кому нужно теперь мое убеждение, что ему же на пользу я действовал? И где эта польза?!

Этот крошка приходил сюда, на землю, чтобы спеть свою маленькую, очень коротенькую песенку любви. Ты мог этому певцу дать все счастье, – оно от тебя зависело. Ты дал ему?

Ты отнял у него это счастье. За отнятое счастье мстят... Чем он отомстил тебе? Он пел, он умер с песней любви к тебе – он, маленький страдалец, который спит теперь вечным сном на твоём плече!

А помнишь, как он судорожно, весь напряженный, торопливо собирался тогда с няней и братиком уйти от тебя, как говорил он возбужденно: «Уйдем и возьмем братика у папы...» Он никуда не ушел, он здесь, у тебя на плече...

О, какими пророческими словами были его слова относительно брата его. Гари! Когда Гаря плакал так же, бывало, как тот, которого уже не было больше с нами, я не Гарю слышал, – я слышал того, по ком болело так сердце. Слышать его опять в своем доме, слышать и казниться, слышать и искупать свою вину – не было большего для меня удовлетворения.

Гаря мог плакать, – и он плакал, видел бог как, и видел бог, как не раздражались больше мои нервы. О, я научился владеть ими. Они не смели раздражаться больше. И когда я подходил к нему, у меня не было больше мысли об авторитете: я только страдал и любил, как любил Коку его двоюродный брат, терпеливый Володя. Он, Гаря, мог смотреть на меня с бешенством, с раздражением. Но он не смотрел так: он смотрел так, как Кока когда-то смотрел на Володю, растирая

слезы, чтобы видеть меня, и выл и выл мне тоскливую песню своего больного тела, своих больных нервов.

Нет, ни с кем маленькому Гару не плакалось так легко, как со мной, сидя в кресле, у меня на коленях и смотря мне в глаза.

Теперь моему мальчугану уже пять лет.

Он уже выплакал все свои слезы и стал таким веселым, как и все дети.

Здоровье его с каждым днем улучшается: голова у него большая, да он и сам бутуз, сбитый и твердый.

И его звонкий, басом, смех разносится по комнатам, и хотя слышится в нем еще какая-то больная нотка, но Гаря знает, что никто не коснется грубой, неумелой рукой его больных нервов.

У него бонна. – немка. В течение года он переменял трех и не сделал никаких успехов в языке. Третью, совсем молоденькую, любящую, тихую, он полюбил и в два месяца заговорил с ней по-немецки. Теперь он думает на этом языке.

Я это вывожу из того, что он с собаками, например, говорит по-немецки.

И надо видеть, какие они друзья со своей бонной!

У них свои разговоры, свои секреты и самая чуткая, нежная любовь друг к другу: они товарищи.

Но больше всех он все-таки любит меня.

Когда мои занятия требуют отлучек из дому, то тяжелее всех разлука со мной для него. Зато и радость его, когда я

приезжаю...

В последний раз я приехал домой утром.

Жена еще спала, и я прошел к нему в детскую.

Он был там со своей бонной. Что-то случилось: на полу лежал разбитый стакан, стояли над ним он и бонна. Бонна добродушно, по-товарищески, голосом равного отчитывала его.

Гаря стоял со смущенной полуулыбкой и недоверчиво слушал бонну.

Дверь открылась, и вошел я.

Он посмотрел на меня, – не удивился, точно ждал, и с той же улыбкой, с какой он слушал бонну, пошел ко мне.

Я схватил его, начал целовать, сел на стул, посадил его на колени и все целовал.

Он казался совершенно равнодушным к моим поцелуям.

Он рассеянно гладил мои щеки и говорил, и язык его, как и у Коки, тяжело поворачивался во рту, точно там было много чего-то очень вкусного. Он говорил мне о том, что только всплывало ему в голову.

Но вдруг, нежно сжимая ручонками мои щеки, востепенувшись весь сразу, он спросил:

– Ты приехал?

Каким-то кружным там путем – сознание, что я приехал, стало у него теперь в соответствие с радостью его сердца, и он повторял, все нежнее сжимая ручонками мои щеки:

– Ты приехал?!

Он забыл все: он помнил теперь только, что я приехал; он видел меня и сознавал, понимал, чувствовал, что я приехал.

– Ты приехал?! – повторял он голосом музыки, голосом детского счастья.

А глазки его сверкали огнем, каким не сверкают никакие драгоценные камни земли, потому что это был чудный огонь счастливой детской души, – он проникал в мое сердце, будил его, заставлял биться счастьем, радостью искупления, заставлял забывать нежный упрек печальных черных глазок того, который спел уже свою песенку любви, который сдержал свое слово, когда говорил:

– Я возьму моего братика у папы...

Он действительно отнял у меня несвободного, чувствующего отцовское иго сына. Но он дал мне другого: вольного, как сердце, свободного, как мысль, дарящего меня счастьем самой высшей на свете любви свободной любви.